

С гепатитом жить можно десятилетиями, а апластическая анемия неизлечима. Теперь беззащитное тело зависимо от медиков, по вине которых заболело вдвойне.

Единственное, что спасало Яна, – смотреть музыкальный канал для подростков. Раньше – ни за что, а вот – лежит и смотрит! Причем с тем чувством, с которым заблудившийся в пустыне припадает к фляге, а верующий – к причастию. Нечего было критиковать, не перед кем гордиться, протестовать. На койке в одиночной палате лежало умирающее животное семейства гоминидов и завидовало этим телочкам, поигрывающим в такт тыц-тыц шоколадным задом, и изнывающим от чувств ласковым бычком.

Жизненность, биос, то, к чему относился раньше, ну, не с презрением, зачем же, а... просто не замечал, что ли? Тело, мол, есть сосуд бессмертного духа, низший уровень иерархии бытия, ну и тому подобная картонная мудрость. Так барин может не заметить народ, самовар растоплен, чашки на белой скатерти, пока народ не убежит, не вымрет или не подожжет усадьбу.

Он понял, что влюбился в простейшие явления жизни: открывать глаза, смотреть в окно на ровные ряды немецких домиков, построенных, словно для того, чтобы рисовать их цветными карандашами, общаться с людьми, любыми людьми. В гробу ни с кем не поговоришь! Смотреть на людей, на эти двуногие чудеса с благодарностью за все. Просто так. Жить радостью, брызжущей из самой субстанции бытия, как из зрелого фрукта, мажущего все вокруг сладким соком. Взглянуть ещё раз на солнце, прежде чем в крышку гроба забьют первый гвоздь. А ведь за всю здешнюю зиму всего несколько часов солнечной погоды.

В Эберсберге шёл карнавал. Ранним вечером Яна разбудил шум моторов, трещоток и весёлые вопли «хелау», толпа шутов ехала на украшенных гирляндами тракторах и горланила шлягеры, за ними неровными движеньями, то догоняя, то отставая, вышагивала ватага в тёмных деревянных масках. С выпученными глазами, клыками, торчащими из-под вывернутых ослабленных губ, горбоносые в косматых париках и платьях из чёрной козлиной шерсти, они трясли длинными деревянными шестами, будто угрожая клоунам.

Уже месяц Ян просыпался в отвратительно пахнущем холодном поту. Казалось, кошмары выступали из пор кожи, пропитывая постель, так что каждое утро бельё приходилось менять. Сегодня ему снилось, будто он шёл куда-то, да, домой, не в этот арендованный домик на болоте, а в ту розовую пятиэтажку, где вырос, она была оплетена трубами и кондиционерами, словно чурка, поросшая грибом. Шёл задом наперед почему-то. Как он здесь оказался? Как заболел?

Вот он выходит на свою последнюю вечернюю пробежку, в темноту, на заснеженную тропинку, преодолевая усталость и слабость. Темнота нагнетается, как растет уровень холодной воды во время прилива – и внезапно переливается через невидимый борт, затапливает поплывшую голову, сердце, подкосившиеся колени. Зачем бегаешь? – спрашивала Алиса, угловатая, веснушчатая, похожая на фею из детской книжки. От себя, от себя, собственного хозяина, в родной чёрный лес, дальше, чем поводок позволяет, не убегу, конечно же. От того, что ты не испытываешь ко мне ничего, кроме жалости. Наверное, следовало спросить у врача, можно ли бегать во время лечения. Последний анализ крови показал, что количество нейтрофилов и тромбоцитов ниже критической нормы в пять раз.

Лечащий врач, доктор Тобиас Гросс, человек амбициозный и динамичный, читал The New Yorker, что для баварской деревни – почти вызов тамошним нравам. Его праксис производил впечатление не столько больницы, сколько галантереи. Откуда у вас гепатит, спрашивал он с интонацией, выдающей подозрения самого гнусного и непристойного способа заражения. Доктору Гроссу следовало отменить терапию, с гепатитом живут и

живут, – а теперь каждый день может стать последним, но нет, доктор лишь сократил дозу и посоветовал быть осторожным, стараться ни в коем случае не пораниться.

Тот укол делать мучительно не хотелось, тело закричало бы, если б его кто-то слышал, – нет! «Делай что должно, и будь что будет». Вот и сделал. Рациональный механизм подействовал безотказно. Глянул Ян на балканскую икону с Чудом Георгия о Змие – и загнал шприц с рибавирином в вену, как Георгий копьё в змеиную пасть. Отделил, значит, добро от зла, оказалось только, что ткань, добро и зло связующая, это была сама жизнь. Теперь, с таким уровнем нейтрофилов и тромбоцитов, каждый чих и каждая травма могли обернуться белыми тапочками.

В ту роковую зиму несчастья приходили одновременно, будто сговорившись. Фирма, где Ян разрабатывал системы безопасности, трещала по швам, а ещё молодой совсем кот заболел, два с половиной года, игривый и общительный. Котенок запрыгнул в дом месячным сиротой, уцепился за свитер, глянул гигантскими синими инопланетными глазами – и остался жить. Пока не растерял повадки боевого детства, он кусался и царапался до крови, не шёл на руки, шерсть не вылизывал, но со временем стал всем котам кот.

Выходя на лужок, он первым делом нюхал голубой колокольчик. Приходила соседская кошка, томно потягивалась, красовалась, а он дичился, наблюдал за ней из укрытия. Пошла вольная жизнь – гулять дни и ночи напропалую, гоняться по ветвям за белками, биться с жирными соседскими котами – возвращался весь израненный. Последнее время так привязался к Яну, что выбегал с ним на прогулку. Как другие выгуливают собаку, Ян гулял с котом, не отходившим ни на шаг.

Этой зимой кот всё время спал, а потом у него сильно распух живот, словно переполнен был какой-то жидкостью.

Ян принес его в лечебницу. На столе у ветеринара в глаза бросилась скляночка с окровавленными котовыми яичками. «FIP, инфекционный перитонит на неизлечимой стадии, – сказал доктор. – Надо усыплять, чтоб не мучился». Ян не хотел усыплять. В интернете он нашел гомеопата, который брался вылечить FIP при помощи аутонозодной очистки. Система процедур была странная и сложная. Сначала взять полграмма кала больного, развести в ста миллилитрах кипяченной водопроводной воды и размешать стеклянной палочкой пятьдесят раз по часовой и пятьдесят раз против часовой стрелки. Каплю жидкости прыскать при помощи шприца коту в рот. Затем брать ещё одну каплю, разбавлять её с каждым разом более и более и размешивать на пятьдесят кругов по часовой и против сильнее и сильнее. За пятидневным циклом – неделя отдыха. Потом то же следовало делать с мочой и, наконец, с кровью. Лечится ли подобное подобным, Ян так и не узнал, скорее, бесконечно малая единица болезни соотносилась с самой болезнью так же, как оскорбительные для разума манипуляции со страхом за жизнь любимого существа.

Через день после визита к ветеринару ночью в щель под дверь заполз страх снега, не холода, от которого можно замерзнуть, а именно снега – с ним в жизнь вторгалась ВЕЧНОСТЬ, это слово Снежная Королева приказала Каю сложить из льдинок. Ян крутился во сне, затагивая немислимыми узлами влажные от пота простыни. Под утро приснился восход солнца в белом поле, и пришло странное чувство, что жизни почти не осталось, а потом неожиданно раздался стук в дверь. На крыльце растирала замерзшие руки ресепшионистка из их компании. Она протянула конверт с уведомлением об увольнении – банкротство предприятия – и, смущенно зажевав прощание, понеслась обратно, ступая в собственные следы по наметенным на ночь сугробам.

Пробежав глазами письмо, Ян побежал за кошачьим интерфероном, по пути заскочил в продуктовый за пакетом виноградного сока, сразу же открыл, выпил пару глотков – но его неожиданно стало рвать. По снегу разлилось красное пятно, похожее на пятно крови. Оба мы доходяги, подумал Ян.

Шестая ампула кошачьего интерферона оказалась последней. Всю ночь кот сидел перед входной дверью и внимательно смотрел на нее, вглядываясь в неизвестное, словно ожидая, что дверь откроется, затем приполз в спальню, лёг на кровать Яна головой к подушке и испустил дух. Везти трупик на кладбище для домашних животных совсем не

хотелось. Ян решил идти в лесок, ковырять мерзлый суглинок лопатой, долбить ломом – и, одеваясь, заметил множество мелких язвочек на лодыжках. Непривычно светлая, алая кровь просачивалась сквозь кожу и дрожала мельчайшими бусинками. Стер бусинки, натянул джинсы. Вышел засветло с обувной коробкой подмышкой.

В лесу дышалось легко, снежные подушки на еловых лапах, как скопления осязаемого забвения. Здесь коту, другу милому, будет спокойно.

Как ни старался уберечься, а всё-таки простыл. Температура поднималась и снова падала, будто волна колотилась о ржавый борт дебаркадера. Вышел на кухню, отрезал хлеб, и – надо же – коркой поцарапал десну. С отвращением выплюнул пропитанный кровью мякиш. Как и предупреждал доктор, кровь не остановилась, подтекала всю ночь сквозь вату. Пластырем десну не заклеишь! Когда тромбоцитов так мало, даже обычная хлебная корка может оказаться смертельно опасной.

Утром собрался в районную больницу, вызвонил такси, но машина пропала по пути. Поехал на электричке в Эберсберг, примерзший к склону Альп городок с бывшим монастырём и старинным замком. Сырой, полутёмный барочный собор, постоянно в лесах, как будто хронический больной, молящий Мадонну помянуть его ныне и на смертном ложе. Скорую Яну, теперь безработному, вызывать было не с руки: если болезнь признают неопасной, вызов придется оплачивать самому, а это может стоить больше тысячи евро. Придётся потрястись в электричке, где из пассажиров только гулкие сквозняки, а потом полчаса заплетаящимися ногами от остановки до опрятной, будто бы собранной из детского конструктора «Лего» клиники. Госпитализировать Яна не спешили, продержали несколько часов в приемном покое. Почему никто не написал стихов-проклятий про этот мир, желчно думал Ян. И всё же, после того как пожилая сестра нацедила из вены полдюжины пробирок крови, – положили в одиночную палату, под капельницу с антибиотиком, чтобы погасить горячку. Нейтрофилов – пять процентов от нормы, тромбоцитов ещё меньше. Температуру сбили, но ни нейтрофилы, ни тромбоциты восстанавливаться не спешили, гемоглобин упал до тридцати трёх единиц.

Слова «апластическая анемия» впервые прозвучали во время утреннего обхода. Недостаточность, или отсутствие костного мозга. Лёгкая форма апластической анемии может пройти сама, но чтобы прошла тяжёлая – это маловероятно. Медицинский справочник лаконичен: «Средняя продолжительность жизни больных тяжелой апластической анемией составляет 3-5 месяцев, и только каждый пятый живёт больше одного года. Сверхтяжелые случаи аплазии имеют ещё более худший прогноз». Там же указаны две возможности лечения: пересадка костного мозга и иммуносупрессивная терапия. Если решиться на пересадку костного мозга, нужно искать донора, а где его взять, если даже с родной сестрой совместимость не полная? И даже если найти, то из пяти мужчин возраста Яна после пересадки костного мозга выживет один. После иммуносупрессивной терапии, объясняет доктор, шанс больше в три раза, правда, жизнь долгой не будет: отключается механизм, ответственный за остановку бесконтрольного роста клеток, механизм этот защищает от рака, но ведь Яну нужно, чтобы клетки росли. Вырасти-то вырастут – но лейкемия! Поговорка прямо про лечение чумы холерой. А пока – переливания крови, красные пластиковые мешочки с консервами эритроцитов, белёдые – с тромбоцитами. Пластиковая пуповина – трубка капельницы, из таких в детстве мастерили рыбок и чёртиков, прокрашивая их изнутри йодом или зелёнкой, – соединяет с кровяными консервами, чьей-то чужой полуживой кровью, которая на время станет твоей, твоей жизнью; поэтому и ты становишься не вполне собой, не вполне человеком, человекоконсервом, перетекаешь в мир кентавров, химер, сфинксов, да и вампиров, кстати. А вот лейкоциты, нейтрофилы никак не перелить, иммунная система или своя, или её нет. Вот и нет её. Реакция на каждого возможного переносчика заразы – волна ужаса.

Через неделю во время утреннего обхода молодой специалист неопределённого профиля, похожий не то на вратаря популярного местного клуба, не то на полицейского из фильма про спасение мироздания, в последнюю секунду говорит, что в клинику поступил коммерческий пациент: богатая бабушка оплачивает услуги больницы сама, а не по

страховке, так что придется перебраться в общую палату или в мюнхенскую горбольницу, там как раз есть отделение онкологии-гематологии.

Ян, не раздумывая, принял предложение о переводе в Мюнхен. За два часа оформили бумаги и вызвали карету «скорой помощи». По дороге Ян разговорился с санитарями, юной крепкой женщиной с волосами цвета спелой пшеницы и парнем, похожего на неё, но помладше. Работа очень трудная, сказали они, вчера вот пришлось нести тяжёлое тело по узкой крутой лестнице с пятого этажа. Рабочий день не нормирован, вызовы и по ночам бывают, каждый день – боль, крик, страх, страдание. Маленькая зарплата. Но – работают. Потому что спасают людей. Не в переносном смысле, а просто и непосредственно.

Жёлтые павильоны мюнхенских городских клиник раскинулись между парком на левом берегу Изара, испещрённом тропинками, которые по ночам играют в веревочку, свиваются, путаются до состояния спагетти в тарелке, и парком Луитпольдхайн с крутыми холмами. Холмы эти искусственного происхождения, под ними руины домов, разбомбленных в сорок пятом. Клиники, до сих пор по-щегольски современные, добротные, свидетельствуют о временах, когда всё было настоящим.

Яна положили в просторную палату со сводчатым потолком. Окна выходили на юг, как и во всех остальных палатах. Ян смотрел на старые деревья, завидуя силе, вытягивавшей их, заклиная свои кроветворные клетки расти. Костный мозг как деревья, малое как великое, изнутри как снаружи – твердил он на вдохе и на выдохе. Но деревья не могли пробудиться от гнетущего сна, серые полосы на белом листе, части иероглифа, значения которого не разгадать. Страшный мир снежинок, белых кристаллических паучков, высасывающих тёплую кровь, прорывался в палату через кашель соседа. Господин Люгенбольд – пятидесятилетний владелец небольшого автопарка из деревни по ту сторону автобана. В тех местах выращивают несъедобную картошку, вся она идет на шнапс. Господин Люгенбольд то и дело по четверти часа заливаётся кашлем, наружу лезет мокрота и густая белая пена. Судя по акценту, то ли он из Трансильвании, то ли подунайский шваб. Любит поговорить про правильно-неправильно. «Тебе, Ян, нужно родить детей, иначе кто будет выплачивать нам пенсии». Какая, к чертям, пенсия, если тебе помирать!

В ватно-марлевой повязке не заснешь, а снять в прибое непрерывного кашля – задохнёшься не от повязки, так от страха. Забравшийся с головой под одеяло складывает оригами из обрывков сна. Иглистые шары – репейник микромира, полупрозрачные колбочки, извивающиеся мельчайшие змейки таятся на листьях салата, на коже яблок, в рыбе, яйцах, мясе, некипяченом молоке, сыре с плесенью и без. Съедобное сжалось до вареного, жареного да пареного, обязательно мягкого. Кровь уходит через малейшее повреждение десны как речная вода по правому рукаву, тогда кожа становится прозрачнее, а губы – бледнее.

Пункцию костного мозга из задних гребней подвздошной кости взяли на пятый день под местной анестезией. Оглушенная кость превратилась в неорганику, в горную породу; это уже не кость, это толща магматической формации, которую бурят в поисках рудоносных жил. Откуда там костный мозг? Нашли костную ткань, жиры, клетки стромы – не было только кроветворных клеток. Сверхтяжелый случай аплазии, смертельный диагноз.

Это как если сорвать стоп-кран в поезде дальнего следования – пассажиры и чемоданы падают вперемешку со своих полок, – сорвать стоп-кран и сойти посреди сумеречной степи. Не хочется провалиться последние недели жизни на казенной койке. Ян собрал вещи и зашёл попрощаться в ординаторскую. Дежурная сестра пыталась запретить ему уходить, но Ян был непреклонен, у нас демократическое государство, и вы не имеете права удерживать гражданина вопреки его воле. Только подпись на больничном бланке: «Беру ответственность за собственную жизнь на себя». Важнейшая подпись в жизни.

Дышалось снаружи хорошо, Яна поприветствовали отбившиеся от стаи снежинки и сырые городские огни. Задыхаясь на каждом двадцатом шаге, с марлевой повязкой на лице, полупрозрачный от обескровленности, он улыбался. Это не ваша жизнь, не хозяйничайте! Вам я уже доверял, уже жил для вас. Она моя, и я буду по-своему жить. Жив – приеду, обнимусь с подругой, поставлю Боуи или T-Rex, а помирать стану – пойду помирать в лес.

Полночь на скорую руку подшивала вчерашний день к завтрашнему. Электричка приметывала стежками внакидку застиранные пригороды со словно нарисованными домиками. Дом Яна то ли рос из болота, то ли тонул в нем. Да и дом ли, не грибница ли плесени в форме дома? За пять десятилетий строительный раствор так и не просох. Кусты прорастали сквозь влажный вымывающийся бетон, по весне из стены вовнутрь тянулись зелёные ветки. Хозяйка дома, художница, восьмидесятилетняя гречанка Халица, была родом из Александрии. Детство её пришлось на времена цветения и увядания многоязычного города, сороковые-пятидесятые, излёт эпохи египетского королевства. Каково инфанте в двенадцатикомнатном лабиринте на улице Шериф-Паша среди друзей и подруг отца: богачей, поэтов, колдунов, нимф, красавице, похожей на лепесток шафрана в шербете, потерять в раз все! «Свободные офицеры» захватили власть в пятьдесят втором и изгнали греков. Как Халица оказалась под Мюнхеном, Ян не знал, её холсты, где зеленым по зеленому были изображены руины, тоже не выдавали секрета. Яну запомнился один: выветривающийся ангел из песчаника.

Тяжёлые портьеры цвета мирта скрывают от соседского глаза покой вещиц с запутанным прошлым, сокровища барахолки, строчки непрочтённых книг, неестественные позы печальных католических святых, невидимые пруды тоски и черной желчи, поросшие, как водорослями, реальной, настоящей плесенью. Вещи то увеличиваются, то уменьшаются в такт учащенному неровному пульсу в висках, кружась в танце с головной болью. Порой кажется, что предметы сделаны из плотного страха, и если перестать бояться, то они растают.

Это кладбище того, чему не бывать, – его дом. Ян мог валяться сутками на матрасе и наблюдать за трудами паука, слушать рок шестидесятых или Баха, гулять с Алисой среди серых сугробов, от этих нехитрых занятий на душе становилось так легко, как лёгок полёт одуванчикового пуха. Есть ли надежда? Кошечкой иглой Ян вколол пару месяцев назад смертоносное снадобье, и теперь надо было эту кошечку иглу добыть и сломать.

Инструкция по применению рибовирин предписывала пользоваться эффективными контрацептивными средствами во время лечения и в течение семи месяцев после его окончания. Следовательно, за семь месяцев после окончания приёма препарат выводится окончательно? И костный мозг может начать восстанавливаться? Это шанс! Слышите, шанс! Только дожить до цветения яблони, потом появятся розы, а где розы, там и кровь, поётся в песнях.

«Никто тебя не проклинал, – в трубке звенит голос водуна, принца Дагомеи. – Но предки тобой недовольны». Когда все посыпалось: умер кот, обанкротилась фирма, и эта болезнь – Ян прислал ему свою фотографию. «Выживешь ли? Выживешь! – засмеялся водун. – В Храме Света в Бенине принесём жертву твоим предкам: козла, пару петухов. Тогда предки скажут, что делать». Ян отказался, со своими предками он сам разберётся. К тому же подписал бумагу, что берёт ответственность за свою жизнь на себя.

«Я» – это кожа. Индивидуальное, то, что отделяет «еще-не-я» внутри, мясо, требуху от «уже-не-я» снаружи.

Из полупрозрачного тела Яна выступали острова, архипелаги гематом: сначала сизые, потом расцветали красным, желтым, зеленым, розоватым и медленно, очень медленно погружались в белёсый студень. Внутренние кровоизлияния останавливались так же неохотно, как и внешние. А когда уровень гемоглобина падал и не возвращался, Ян сквозь сумрак обескровленного мозга разглядывал в окно инвалида у фонтанчика из аспидного сланца. Ян завидовал инвалиду: он живой и будет жить дальше. Яну оставалось лишь цепляться за то, что он видит, чувствует, как за якорь, в мире живых.

Раз в несколько дней Ян ездил на переливания. Чем реже переливать кровь, тем лучше, так думал он. После каждой трансфузии Ян становился чужим самому себе, циркулирующая в нём жизнь превращалась в чужую, враждебную. Каждая клетка тела была отвратительна и выла, орала, как больной зверь. С каждым разом организм научился успешнее отторгать чужеродные кровяные тельца, росло количество антител, перелитая кровь быстрее разрушалась, переливать приходилось все чаще. Отношение объёма

требуемой крови к промежутку между переливаниями Ян представлял как равнобочную гиперболу. Если расчёты верны, то продержаться можно месяца три, потом линия гиперболы взлетит вертикально.

Память подобна улью, приторной матрице с шестигранными ячейками, полнящейся прошлогодним солнцем. Несколько месяцев назад, в бесконечный ноябрьский вечер Ян и Алиса прогуливались по рождественскому рынку, и коренастый розовощекий пасечник, продававший восковые свечи, подарил им банку липового меда из соседней рощи. Хотел ли он этим жестом привлечь покупателей, или просто шевельнулась душа простеца из деревни, где поля охраняют не пугала, а круцификсы? Неважно. Именно ради таких подарков, чтобы дарить, получать их, и хотелось выжить. Ещё хотелось дожить до яблоневого цвета – но весна не наступала и не наступала. Доживёшь до цветения яблонь, шептала Алиса, обняв его, и свежие яблоки в сентябре попробуешь, много раз ещё!

Эллинский гоппит – февраль – мечет копые по прямой, идёт к месту, где оно вонзилось в мокрую землю, в замёрзшую грязь подо льдом, снова мечет копые, снова проходит отрезок серой бесконечности и так далее, никогда не доходя до горизонта, никогда не возвращаясь. Лес начинался сразу за домом, но теперь, пропитав стены, вошёл вовнутрь, и дом вдохнул полными легкими запах талого снега и опилок. Или это Ян пропускает запах через всё тело? Талый снег пахнет детством, и, как младенцы на прогулке держатся за веревку с кольцами, так и за этим запахом гуськом из мира первых воспоминаний, грунтовых вод, питающих душу, в мир настоящего топают цветки мать-и-мачехи. Там горизонт – зеркальная амальгама, грязные проталины – отражение просветов в облачном фронте, а мать-и-мачеха, первое удивление в жизни Яна, – отражение северного, вполнакала, солнца. Оттуда бегут чёрные холодные ручьи с бензиновыми разводами, набирая силу. Столько же и ещё два раза постольку проживёт – и научится строить бумажные корабли. Ян опускается на колени и целует жёлтый пушистый цветок.

Отец прислал открытку с рисунком Кандинского: продолговатое синее пятно с желтым полуободом, поперёк россыпь рангоутных деревьев, прямые паруса собраны, латинский парус на грот-мачте раздувается ветром, чёрные тревожные кляксы и лодка улыбкой. Глупо было бы умереть, так и не походив под парусом, не вырастив из бумажного корабля настоящую бригадину.

К десяти на переливание. Электричка несётся по ленте мебеуса в бесконечных серых сумерках. Шлепок, ватно-марлевая повязка крепится резинкой на ушах. Схорониться от чужого кашля, как солдату от стрельбы и бомбежки! Иногда закашливается один пассажир, кашель переходит ко второму, пятому, и вот уже все бронхи в вагоне заходятся в лае, словно стая, настигшая добычу. Колонизация патогенами желтоватого воздуха электрички. Замедленное кружение мельчайших капель мокроты. На выходе Ян тащится через лестничный пролёт. Отдышаться бы. Встречная старуха, глядя на него, покачивает головой, понимает, каково, если сердце. За угол и зигзагом мимо корпусов. Формалиновый душок. На крыльце отделения онкологии-гематологии, как всегда, будто на страже, скелетик в тапках и трениках. Ему чуть за тридцать. Скелетик опирается на штатив с мешочками крови. Мир помят от его взгляда, коверкающего предметы, чтобы высвободить из-под них солнечный луч – солнца нет уже пару месяцев. На вытянутом лысом черепе шерстяная шапочка. Он курит, значит – существует. Мокрый снег на вдохе, мокрый снег на выдохе.

После процедур – в февральские сумерки. По тоннелям переходов под Мариенплатц в мареве энергосберегающих ламп убегают, как буквы черновика, тысячи лиц. Тысячи ртов на все лады произносят что-то, пузырьками всплывающее к поверхности. Никто никого никогда не расслышит. Пьяный подросток со смазанным лицом замечает ватно-марлевую повязку, тычет указательным пальцем, орёт: «У него СПИД!» Был бы СПИД – помер бы. Не гнев, не ярость, а сам прозрачный поток жизни, как в замедленной съемке, разворачивает верхнюю часть тела Яна, подымает левую ногу над полом, вверх колено – до уровня пояса, раскручивает опорную правую, распрямляет ударную ногу на уровне лица незадачливого обидчика. Все тело – сплошная мышца. Стоп! Ян сам не знает, как это произошло, откуда силы, он падает в открытую дверь подошедшего поезда и зажмуривается.

Хрустнули все кости. На секунду возникло призрачное чувство, будто бы костный мозг заработал. Кровавый прилив в висках. Пульс за сто. В раковине черепа шумит красный океан. Каждый удар отдаётся глухой болью. Кто там стучит, не переставая, ломится вовнутрь? Грудь сдавлена, голова плывёт от ядовитых испарений, курящихся над трясинной страха. Миллионы литров ужаса под рыхлой неверной коркой из продуктов полураспада непрожитого. Страшно отключиться. Пока душа скитается в дурманящих лабиринтах лимба, бедное сердце решит отдохнуть и успокоится навеки. Оно уже неделями носится на американских горках, ритм извивается, как разрезанный червяк. В такие ночи спать нельзя, лучше измерить шагами зенитные углы сумерек, побеседовать с собственным страхом, заглянуть гадине в глаза. Вот они. Это страх тканей, клеток, умных вихрей ДНК, язык иммунной системы, голос самой плоти. Он переползает из костного мозга в головной, по частям, с каждым ударом сердца, прокладывает себе пути, ветвящиеся тёмные тоннели.

Ян одет во все красное, как священник в пасхальную ночь, – так тело, окружённое багряным, впитывает цвет, рождая красное из красного в красном. Сегодня он выбрал рубашку под шестидесятые, в малиновый цветок на багровом поле. Кружевные рюши на груди. Покупая, не чуял за ближайшим поворотом роковой болезни. Обидно умереть, не поносив обновы.

Здравствуй, отсутствие человека! На крыльце отделения нет паренька в шерстяной шапочке, курившего здесь каждый день. Почему они ни разу не заговорили? Почему так и не познакомились? А ведь могли сдружиться, и именно Ян мог быть лучом, которого парень искал. Жив ли? Все живы! Все наши невстречи – встреча. Ян пожал невидимую руку и прошёл в амбулаторию.

Он занял место в кресле для трансфузии, рыжая веснушчатая сестра нашла вену и, не с первого раза, оставив синяк с пятицентовую монету, вогнула иглу. В кресле напротив у господина Люгенбольда мешочек с кровавым препаратом был почти пуст, ещё немного – и к нему в вену потечёт пустота. Ян кивнул – общаться не хотелось – и уставился в окно. Краем глаза он видел, как господину Люгенбольду сняли капельницу, тот поднялся, сделал неверный шаг в сторону и стал грузно оседать на пол. Лицо с тёмными прожилками задрожало, будто оно было посторонним предметом, маской из высохшей дряблой кожи. Рот сам задвигался, пытаясь поведать напоследок нечто важное, но в этот момент господин Люгенбольд стал разваливаться на буквы так и не произнесённого текста.

Мартовские недели были подобны растущим ветвям: день – зелёная почка, следующий день – побег. Время распрямлялось по золотому сечению, вверх, в стороны, пускало отростки, распространялось по пифагоровой спирали, делилось, шумело под дождями, тянулось навстречу лучам. Гипербола не взлетала. Снег начал сходить, и почва сулила счастье: скоро Ян ляжет на тёплую летнюю землю, в лопухи под звёздами. За что ему даровали жизнь высшие силы? За просто так, незаслуженно, таков узор на песке от одной из волн никогда не останавливающегося океана.

Нестрогий католический пост был на исходе, наступала Страстная Пятница. Из кропильниц при входе вычерпывали святую воду и вытирали их насухо. Святые поблескивали сусальным золотом. Короли с мантией из толстого слоя пыли с укором и сожалением смотрели на туристов, выглядящих даже как-то богомольно в этом тусклом свете. Алтари и лики святых задрапированы черным. Собор готов к вечернему исполнению баховских «Страстей по Матфею». Зацвела яблоня.